

Кэрил ЭМЕРСОН

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: ГАСПАРОВ О БАХТИНЕ

В начале сентября русская и английская версии этого эссе были отправлены М. Л. Гаспарову. Уже дома, пришедший в себя после лечения, оказавшегося последним, Михаил Леонович был настолько любезен, что прочел текст и откликнулся на него в начале октября, сделав несколько небольших исправлений относительно античного термина "серьезно-смеховое". Со своей обычной галантностью он лишь попросил меня смягчить "некоторые Ваши сверхпохвальные выражения обо мне" (чего я не выполнила), при этом дав понять, что он удовлетворен и тем, как его позиция представлена мной, и самим эссе. Полагаясь на это свидетельство, я посвящаю эссе его памяти. - К. Э.

Многие отечественные философы и теоретики выступали в советское время в роли филологов. Искажение идентификации сказывается как на их собственном творчестве, так и на понимании их идей, концепций и конкретных научных результатов.

Н. В. Брагинская¹

За последние четверть века в индустрии Бахтина многое изменилось - но кое-что осталось точно таким же, каким было с самого начала. Не изменилось, среди прочего, и отношение к Михаилу Бахтину со стороны Михаила Гаспарова.

Репутация Гаспарова очень высока среди американских славистов - и как ученого мирового класса, и как строгого аналитика с неистребимым чувством юмора, и как мемуариста, одновременно пронизательного и шутивного, наконец, как философа гуманитарных наук (хотя он, вероятно, не принял бы для себя такого определения), ставящего выше всего ясность мысли и здравый смысл.

Из всех ученых, критиков и чудаков, высказывавших свои возражения Бахтину на первом этапе запоздалого открытия этого имени в России и на Западе и потом, когда начался бум, - Гаспаров был и остался самым принципиальным оппонентом. Говоря "принципиальным", я имею в виду вот что: когда Гаспаров высказывается, например, против практики вузовского преподавания или же против научного мировоззрения, то это потому, что он противопоставляет как первому, так и второму ряд систематически продуманных принципов, не

менее последовательных, логически строгих и безусловных по своему ценностному весу, чем логика бахтинской мысли. Исследователи Бахтина, к сожалению, склонны в большинстве своем либо с ходу отвергать, либо просто игнорировать гаспаровскую критику. Полагаю, что это - ошибка. В предлагаемой статье будет сделана попытка рассмотреть напряжение, возникшее между сторонниками Бахтина и сторонниками Гаспарова, в определенном контексте и межкультурной перспективе.

* * *

Гаспаров открыл дискуссию в 1979 году - четверть века назад - в публикациях Гартуской школы². А совсем недавно, в ноябре 2004 года, он продолжил ее в Москве³. Между этими двумя выступлениями Гаспаров неоднократно выражал и варьировал свою научную позицию в статьях о филологии и многочисленных записях мемуарного характера.

Следует подчеркнуть, что "диалог" между Гаспаровым и Бахтиным - особого рода. Ведь он начался тогда, когда жизненный путь одного из участников уже закончился: Бахтин не мог больше ни пояснить свою позицию, ни возразить на возражения Гаспарова. Ученики и последователи Бахтина стали отвечать вместо него как бы от его имени. Лишь недавно, после того, как к Бахтину на протяжении десятилетий кто только не обращался и как только его не "присваивал", определились и выделились настоящие его исследователи в России и среди историков идей на Западе. Эти немногие начали по частям, буквально по кусочкам, собирать то, что когда-то и как-то было связано с этим именем - то есть с Бахтиным-мыслителем, когда он был жив. Вот что, пожалуй, самое примечательное в растянувшейся на десятилетия односторонней полемике Гаспарова: с годами неприятие оппонента становилось у него все радикальнее и многословнее, однако это не всегда было на пользу дискуссии. Самые первые возражения, выдвинутые Гаспаровым в конце 1970-х годов, - например,

стр. 13

когда он сблизил Бахтина с формалистами, как "человека двадцатых годов", разделявшего определенные слабости современных ему радикальных литературно-критических школ, - были, в общем и целом, пронищательнее и взвешеннее прозвучавших недавно.

Гаспаров, отстаивая свою правду, пожалуй, возразит нам в том смысле, что бахтинские трюизмы решительно победили на мировом рынке и нанесли куда больше вреда научной филологии, чем это можно было предвидеть в 1979 году; поэтому те, кто не согласен с Бахтиным - а среди последних голос Гаспарова едва ли не самый знаменитый, - должны высказаться еще более откровенно, принципиально и нелицеприятно.

Нужно признаться, что причина расхождения с Бахтиным коренится в значительной мере в характере восприятия бахтинских идей, особенно - в крайнем огрублении Бахтина на Западе, которое питалось нео-марксизмом, французским нео-фрейдизмом и сценариями власти у Фуко. Философия, открывшая взрывной потенциал языка, с большим энтузиазмом была встречена на Западе в эпоху политического радикализма 1960 - 1970-х годов. Бахтин очень удивился бы всему этому - Гаспаров, как можно предположить, ужаснулся. Упомянутый аргумент Гаспарова из статьи 1979 года - что Бахтина можно записать в один лагерь с петроградскими формалистами, коль скоро у него и у них

обнаруживается один и тот же набор методологических грехов, - был, как это ни странно, на свой лад здравым и справедливым, если смотреть извне, с пространственной и временной дистанции. Ведь на Западе предполагалось как нечто само собой разумеющееся, что "русская теория" - подрывная и революционная.

Во всяком случае, методологический разрыв между теми, кому ближе Бахтин, и теми, кто следует за Гаспаровым, сейчас, четверть века спустя, обнажился полностью - настолько, что разрыв этот может рассматриваться как некая предельная граница, по обе стороны которой - два диаметрально противоположных подхода к гуманитарно-филологическому познанию вообще, со всеми обретениями и утратами каждого из этих подходов. Граница эта, однако, не является ни устойчивой, ни статичной, потому что Гаспаров - парадоксальный и равнодостоинный оппонент Бахтина. Каким бы "консерватором" ни слыл Гаспаров, в нем есть что-то от "академика-еретика" - определение, которое дали ему восхищающиеся им авторы из журнала НЛЮ в 2005 году, по случаю его 70-летия⁴.
Мастер

стр. 14

во многих различных областях и жанрах, Гаспаров требует "укрощения исследовательского своеволия во имя "самого объекта"" (170), а между тем его собственный метод (и предпочитаемые учителя) - эксцентричны: они - продукт официальной, но маргинальной, неканонической, почти забытой критической мысли 1920-х годов. "У кого учились? - спросил Гаспарова коллега. - У книг" (172). Гаспаров не основал какой-либо школы. Авторы цитируемой статьи, задаваясь вопросом, какой классификационной рубрике соответствует их филолог-еретик, спрашивают: "Традиция филологическая - в чем она состоит? <...> И еще: что мы наследуем (или выбираем, что наследовать) от предшественников: сам предмет исследования, отношение к предмету, методологию? Или само отношение к методологии?" (170).

Поставим теперь вопросы еще более фундаментальные, чем те, которые поставили авторы цитируемой статьи. Что такое филология? Что такое наука и "научность" в гуманитарно-филологической деятельности? Каков статус выживания следов культуры (книги, фрагмента, легенды, артефакта)? Существуют ли разумные пределы использования или обработки критиком, от своего имени, такого культурного следа? Что значит "вступить в контакт" с другой культурой, в особенности с такой, которая отличается от нашей культуры временем, пространством, языком и местом обитания? Может ли творческое сознание, захваченное словом, позднее зажечь новой активной жизнью в сознании воспринимающего таким образом, чтобы жить вечно? Можно ли принять всерьез притязания Бахтина, заключенные в полифоническом методе, - что это не только метод создания другой личности, но что вымышленный герой посредством такого метода может, как личность, развиваться сам по себе и даже оказывать обратное влияние на своего автора? Или эти притязания просто еще одна глава в призрачной истории исканий русской философии - исканий, цель которых - отменить смерть?

Ответы на эти вопросы даются самые разные сторонниками и оппонентами как Гаспарова, так и Бахтина.

стр. 15

Например, Н. В. Брагинская, автор недавней статьи "Славянское возрождение античности", цитата из которой взята нами в качестве эпиграфа, считает, что Пумпянский и Бахтин поддались чарам телеологически-эволюционистской идеи "Третьего Возрождения", получившей широкое распространение в начале XX века: в ту эпоху многие были одержимы стремлением увидеть литературные жанры и религиозные откровения древних непосредственно соотношенными с русской культурой, какими бы сомнительными, а то и вовсе несуществующими, ни были параллели такого рода. Поэтому и романы Достоевского старались осмыслить и объяснить сперва - как греческую трагедию, потом - как неудачу или гибрид греческих трагедий, наконец (Бахтин) - как возрожденную мениппею⁵. Страстное желание увидеть и оправдать русскую литературу в явлениях и терминах античности продолжалось вплоть до 1930-х годов, а у Бахтина и того дольше, вплоть до начала 1960-х годов, когда было опубликовано второе издание книги о Достоевском, а в нем - четвертая глава (о мениппее). Н. В. Брагинская полагает, что навязчивая идея утвердить "нашу античность" - это русский тупик: "Не ученое и острапяющее отношение, а заинтересованное и присваивающее". В примечании к этому высказыванию Брагинская ссылается на статью Гаспарова о Бахтине 1979 года, считая Гаспарова своим союзником.

Ссылка Брагинской на ту первую статью говорит сама за себя: Бахтин послужил Гаспарову своего рода зеркалом всего того, от чего он, Гаспаров, отталкивается; под этим углом зрения он подверг испытанию и довел до еще большей ясности и остроты глубоко укоренившиеся в нем убеждения. Причем не только те убеждения, которые относятся к его пониманию филологии и науки вообще, но и такие, область которых - онтология, творчество, нравственность, личный интимный опыт и "диалог"; я бы добавила к этому такую важную бинарную оппозицию русской религиозной мысли, как противопоставление "прелести" (в данном случае - философской) и "трезвости" (научной).

стр. 16

Несмотря на то, что гуманитарные дисциплины (the humanities) не являются точной наукой (science) и в наших парадигмах не происходит "научных революций", тем не менее термины и метафоры, которыми мы пользуемся, и вправду ведь могут оказывать на нас притупляющее и развращающее действие. Но прав ли Гаспаров, полагая, что мы, в качестве исследователей-гуманитариев, потеряли трезвость и введены в заблуждение приоритетами Бахтина?

Мне лично представляется, что учиненный Гаспаровым Бахтину допрос с пристрастием - в своем роде здоровый корректив к бахтиноведческим исследованиям: в них на самом деле немало преувеличений, гипербол, неточностей, поверхностного применения теоретических утверждений и обобщений, в которых еще очень надо разбираться. И в этом смысле М. Л. оказывается союзником Бахтина: оба они, каждый по-своему, предупреждают нас об опасности эгоцентризма, свойственного как искусству словесно-художественного творчества, так и искусству критики, и побуждают к осмотрительности, к тому, чтобы сохранять *дистанцию* по отношению к объекту изучения. Во всяком случае, как в отношении художественного творчества, так и в отношении критики взгляд "со стороны" - куда более надежный исходный пункт для обретения достоверного знания в гуманитарных науках, чем взгляд "изнутри вовне". Делая академическую скромность и трезвость своим фирменным знаком, Гаспаров напоминает нам о строгих обязанностях

служения литературной науке и литературной критике - обязанностях, чуждых многим романтическим и постмодернистским критикам.

Но, с другой стороны, невозможно не принять во внимание и реакцию противоположной стороны. Я заметила, что нет такого русского (или родившегося в России) исследователя наследия Бахтина - а у меня была возможность побеседовать и обсудить дело со специалистами самого высокого уровня, - который бы отнесся к упомянутым выступлениям Гаспарова иначе, чем с крайним неодобрением, расценивая их как намеренное и злостное искажение. Заинтересовавшись, я перечитала у Гаспарова все, что могло дать повод для такой едино-душной реакции. Признаюсь: кое-что я действительно нашла.

Доминирующий мотив неприятия - твердая приверженность Гаспарова к проникнутому секуляризацией и иронией принципу "недоверия к слову"⁶. Такое принципиальное недо-

стр. 17

верие - Гаспаров говорил об этом еще в 1979 году - необходимо филологии: оно "отучает человека от духовного эгоцентризма", довольно естественного в гуманитарных исследованиях, и побуждает нас, напротив, к здоровой объективной онтологии, а потому - и к подлинному филологическому исследованию. С точки зрения Гаспарова, нравственность филологии заключается как раз в добродетелях объективности и дистанции, то есть в осознании того, что письменный артефакт, который я в данный момент анализирую, в свое время обращался не ко мне и обращался не на моем языке; что он, следовательно, безразличен к моим ценностям и не должен истолковываться с опорой на мои личные потребности или нужды.

Интересно заметить, что и Гаспаров, и Бахтин оба высоко ценят "внеаходимость" исследователя по отношению к предмету исследования, но оценивают и методически используют они эту внеаходимость совершенно по-разному. Возражая Бахтину, Гаспаров следует древней и очень почтенной традиции. А неадекватно представляя Бахтина, М. Л. как раз более оригинален.

В этой статье меня интересуют в основном два гаспаровских возражения Бахтину и, соответственно, два возможных опровержения этих возражений. Одно возражение имеет для Гаспарова принципиальный характер: он не принимает понятия "диалог", как и родственного ему понятия "полифонии" в качестве полезных и соответствующих делу филологии инструментов литературного анализа. Второе его возражение Бахтину - методологическое: оно направлено против одной из бахтинских новаций в области исторической поэтики - против "мениппеи", в которой Гаспаров усматривает особенно характерный пример пристрастия Бахтина к извлечениям и фрагментам, то есть, собственно, - произвол "философа", подменяющего предмет филологии беспредметными фикциями, лишенными научно доказательной силы. В этой связи поучительно сравнить гаспаровскую полемику с некоторыми дискуссиями в американском академическом мире.

стр. 18

В американском контексте (начиная с 1960-х годов) на одной стороне оказались формалисты-позитивисты - "литературоведы", представители более традиционной "истории литературы" (old historicists), для которых главное в литературе - это текст. Они стоят на том, что прошлое принадлежит только прошлому, то есть соотносится только с собою же, и мы должны служить такому равному себе прошлому на его собственных условиях и основаниях, храня верность неподвластным времени шедеврам. Ибо наши предшественники, какими бы ни были созданные ими ценности, творили отнюдь не ради нас и не имели в виду наших сегодняшних ценностей. Такую позицию, распространенную в университетах как американских, так и европейских, можно назвать "гаспаровизмом" (Gasparovism)⁷.

На другой стороне, оппонирующей "гаспаровизму" у нас в США, - "постмодернисты", последователи "нового историзма". Вслед за своим лидером, Стивеном Гринблатом, сторонники этого литературно-критического направления уделяют основное внимание контексту, в который входит литературный текст. Они утверждают, что прошлое "резонирует", то есть является не столько источником информации, сколько источником удивления, чуда истории. И мы можем активно войти в это чудо, в историческое измерение, благодаря феномену литературы, магия которой представляет собой "сверхъестественную способность создавать видимость того, что написано это <...> для нас"⁸.

Бахтин и Гринблат, конечно, - странная пара: два человека разных поколений, разной специализации, разных теоретических интересов и пристрастий, наконец, разных темпераментов. Больше того: объективная ирония этой моей статьи заключается, среди прочего, в том, что весь человеческий и научный склад русского мыслителя Бахтина (погруженного в книги со страстным желанием "мысль разрешить", что, впрочем, не мешало ему быть блестящим преподавателем-традиционалис-

стр. 19

том) гораздо больше напоминает как раз его оппонента Михаила Гаспарова, чем нашего Гринבלата, который является отчасти даже как бы учеником Бахтина. Если Бахтин не дожил до расцвета "индустрии Бахтина" и ему не пришлось за нее отвечать, то Гринблат (для которого Бахтин был, по его словам, "одной из мощных интеллектуальных встреч", повлиявших на его критическую деятельность⁹) на протяжении десятилетий уверенно выстраивал свой имидж, достойно парируя удары враждебных критиков. И тем не менее рецепция Бахтина и Гринבלата, похоже, развивалась по одной и той же схеме.

В самом деле: Гринблат тоже был культовой фигурой в США в 1980-е годы. Инициированный им "новый историзм" не поддается точному определению, но он привлек к себе почти всеобщее внимание (подобно неточному, но привлекательному "диалогизму" и "карнавалу" у Бахтина), потому что везде и всюду в воздухе носились ожидания новой методологии. Все искали тогда некую небывалую литературно-критическую модель, которая радикально по-новому сумела бы связать контекст и текст, части и целое; искали модель, которая позволила бы заново определить культурный артефакт - и, соответственно, освободить его от каузального ряда истории; модель, способную продемонстрировать, с одной стороны - поистине безграничные творческие возможности критика, а с другой - теоретическую неприязнительность,

безыскусственность той маски, за которой критик скрывает свое лицо; продемонстрировать одновременно и хитроумную изобретательность микро-прочтений, и смелость макро-генерализаций.

Неудивительно поэтому, что доводы Гаспарова против

стр. 20

Бахтина имеют много общего с теми аргументами, которые были выдвинуты против "нового историзма" в США примерно в то же самое время. Благодаря эрудиции, харизме и литературному мастерству Гринблата, возглавляемое им движение получило широчайшее распространение и стало восприниматься как настоящий слом парадигмы - вызвав, разумеется, впечатляющую реакцию возмущения со стороны выдающихся литературоведов и критиков гаспаровского типа. Оппоненты Гринблата напечатали свои возражения против предложенной им практики литературно-критического исследования в известных журналах¹⁰.

Я упоминаю об этом здесь для того, чтобы сопоставить научную позицию Гаспарова с другими, *равнодействующими* этой позиции, аргументами. Если различия между двумя великими русскими учеными, Бахтиным и Гаспаровым, попытаться обнаружить и вскрыть по ту сторону полемики между ними, - то, возможно, интересующий меня "диалог" переместится из "малого" в "большое" время. Впрочем, диалог ли это?

I. Автор и герой в академической деятельности, по Гаспарову: искажающие маски диалога

Гаспаров, конечно, сходу отверг бы самую мысль о том, что его связывают с Бахтиным какие-то там диалогические отношения. Идея "диалога" не может не казаться ему таким же нелепым заблуждением, как и родственная этой идее фикция о вымышленных созданиях художественной прозы, которые якобы могут по собственной инициативе "вступать в общение" друг с другом или (как этого требует замысел полифонического романа) - со своим же автором-творцом. Гаспаров скажет примерно так: ни о каком диалоге не может быть и речи, потому что Бахтин и его мир - мертвы. Филология, которая началась как изучение древних, давным-давно исчезнувших культур и языков, осознает этот факт и ограничивает

стр. 21

свои притязания более скромными задачами восстановления подлинности текстов и адекватного, точного их комментирования. Филологи не участвуют в "разговоре между эпохами".

В этой своей части аргументация Гаспарова опирается на древние и почтенные авторитеты. Представление о том, что диалогическая форма, в особенности сохранившаяся в письменном виде, - это фикция, мошенническая уловка рефлексии в отношении прежней жизни, которая не может снова стать живой, нашло свое классическое выражение в конце платоновского диалога "Федр". Сократ утверждает там, что слова, запечатленные на письме, - мертвые слова: они совершенно бессильны постоять

за себя и отстоять себя перед аудиторией какой-либо последующей эпохи, они лишены всяких прав перед будущими адресатами. Про слова, которые сохранились благодаря изобретению письма, "думаешь, будто они говорят, как разумные существа", но на самом деле они всегда больше похожи на образ, запечатленный на стене, чем на живой разговор; "если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же"¹¹ .

Сократ полагает, что письмо и чтение, свойство которых - молчаливое восприятие в отсутствии телесно определенного говорящего, могут только ослабить или даже вовсе устранить реальность *другого* . А если *другой* лишен живого слова и телесной реальности и тем самым стал безответным, пассивным письменным словом, то тогда одно только всесильное "Я" в грамматическом (и не только грамматическом) настоящем времени может привести в движение и организовать все голоса диалога.

Гаспаров в течение многих лет применял убийственный скепсис "Федра" к литературной критике. Гуманитарии, - утверждает он, - сильно заблуждаются насчет "интимного отношения", которое якобы связывает их с объектом изучения. То обстоятельство, что мы, филологи, работаем не с неодушевленными объектами, а с сознанием, которого больше нет, должно сделать нас более (а не менее) осторожными. В небольшой полемической заметке, озаглавленной "Примечание псевдофилософское", Гаспаров настаивает даже, что "зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы" к предметам филологического изучения¹² . И в этом есть своя несомненная правда. Человеческое сознание как предмет изучения требует не "интимного", а куда более тонкого и дели-

стр. 22

катного отношения, требует известной уважительной дистанции, не лишенной благоговения. "Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания; можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог: это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? - вот в чем должен он дать отчет, если он человек науки"¹³ .

Этот аргумент повторяется в 2004 году менее терпимо. Увидеть или услышать "диалог" и "дружость" посредством напечатанной страницы - просто иллюзия, а то и кое-что похуже, именно "форма эгоцентрического самоутверждения", претендующего на то, чтобы воплощать не одно, а два автономных сознания. Голос и слова, зафиксированные в тексте, сами по себе уже не изменяются и никому не отвечают; это мы, читатели, продолжаем говорить, расти, меняться во времени и со временем; поэтому "нам и кажется, что вместе с нами меняется и лежащий перед нами текст - мнимый собеседник". А между тем этот последний - лишь зеркало, наше меняющееся лицо. Бахтин, - настаивает Гаспаров, - "смотрит в зеркало на свое "Я", а воображает, что это "Ты"". Такой эгоцентризм исследователя - или любого читателя - может только исказить или подавить самостоятельные следы реальных *других* , - как бы предупреждает нас Гаспаров, - особенно когда внимание сосредоточено на "становлении", а не на результате (продукте, "произведении") творческой деятельности. Вывод Гаспарова тот, что трезвая работа

филологии, как бы ни обвиняли ее в "некрофилии", - в принципе "уважала Другого больше".

По Гаспарову, общение между людьми гораздо труднее, чем нам хотелось бы думать, а Бахтин создает видимость, будто общаться легко и приятно. По сравнению с так понятым Бахтиным Гаспаров выглядит лишенным всяких иллюзий, изощренным мыслителем-скептиком школы Льва Толстого¹⁴. Ибо мы только обольщаемся, когда, найдя в тексте некий

стр. 23

"след", полагаем, будто этот след может разговаривать с нами. Мы не способны даже просто воспринять живое присутствие чужих и чуждых нам людей и голосов в нашем настоящем. В статье 1995 года "Критика как самоцель" читаем: "Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога <...> Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. С камнями сейчас мало кто разговаривает - по крайней мере, публично - но с Бодлером или Расином всякий неленивый разговаривает именно как с камнем <...>"¹⁵.

Если бы Бахтин мог принять, и если принял бы гаспаровский вызов - вызов, направленный в такой же мере против "индустрии Бахтина", как и против самого Бахтина, - то он, конечно, сумел бы за себя постоять. Будь он жив, будь он в состоянии вести диалог на условиях Гаспарова, он мог бы, например, сказать, что его оппонент в своих небезынтересных, хотя и несколько односложных монологах о том, что диалога, мол, не существует, сильно завышает реальные возможности и интегральное единство любого конкретного живого я. Мое я не сводится к плоскому и зависимому отражению или изображению его (как это блистательно и показал Бахтин в своих анализах зеркала: ведь он, между прочим, тоже знал толк в зеркальных отражениях и подменах и был, кстати, строгим критиком всех форм симпатического переживания, которое только удваивает чувства *другого*, а не восполняет и трансформирует его). Зеркала - плохие метафоры. Голос относится к другой категории репрезентации. Никакой субъект, как бы далеко ни отстоял он от нас во времени и пространстве, не обладает силой, цельностью и самоконтролем в такой мере, чтобы самому же *инициировать* голос. С точки зрения Бахтина, вступить в диалог с письменным текстом означает не самому наделять его голосом, но отвечать на его голос. Этот голос (или комплекс голосов) уже воплощен в слове - слове, которое, по-видимому, способно схватывать, сохранять и питать как содержательные, так и интонационные возможности голоса. Встречаясь с таким удерживающим голос живым словом, я всегда обнаружу в нем больше того, что вложил в него сам написавший его автор, и смысл этого слова будет в чем-то

стр. 24

иным, чем тот, который привнесла бы в него я, будь у меня тогда возможность выразить этот смысл своим голосом.

При таком (бахтинском) понимании диалога *другой*, благодаря своему письменному воплощению, не только и не просто сохраняется, но усиливается, освобождается и возвращается к более полному сознанию. И тогда понятно, что побудило Михаила Бахтина обратиться к изучению романа - первой в мире художественной формы, создаваемой и воспринимаемой в молчании, - как самому свободному из всех жанров. Возможно, это и имел в виду С. Г. Бочаров, когда он в 1995 году высказал следующее возражение Гаспарову: культура прошлого вообще недоступна в качестве только мертвого и чужого языка¹⁶.

При всей полемической энергии с обеих сторон, не так-то легко преодолеть все то, что разделяет и отчуждает оппонентов: Гаспарова и платоновского "Федра" - с одной стороны, Бахтина и Бочарова - с другой. То, что каждая сторона имеет в виду в своих основополагающих утверждениях, слишком различно и само по себе едва ли поддается верификации, но при этом затрагиваются какие-то кардинальные интуиции нашего опыта межличностных отношений.

Когда литературоведы начинают говорить в понятиях диалога, они, по Гаспарову, умствуют, как "философы": с профессиональной точки зрения это слово у него совсем не комплимент. Присмотримся к тому, как начинает Гаспаров свое выступление 2004 года "Случай Бахтина":

"М. М. Бахтин был философом. Однако он считается также и филологом - потому что две его книги написаны на материале Достоевского и Рабле. Это причина многих недоразумений. В культуре есть области творческие и области исследовательские. Творчество усложняет картину мира, внося в нее новые ценности. Исследование упрощает картину мира, систематизируя и упорядочивая старые ценности. Философия - область творческая, как и литература. А филология - область исследовательская. Бахтина нужно высоко превознести как творца - но не нужно приписывать ему достижений исследователя. Философ в роли филолога остается творческой натурой, но проявляет он ее очень необычным образом. Он сочиняет новую литературу, как философ - новую систему"¹⁷.

Итак, "философы" (и русский способ "философствования") особенно подвергают себя риску, когда пытаются "ис-

стр. 25

следовать" мир. Философам нравится конструировать системы. Но строят они свои системы потому, что ими слишком часто движет не любопытство к миру, а скорее беспокойство, личная воля и - самое опасное, ибо самое замечательное в своем роде и в своем праве, - творческий импульс. Стоит только ученому вообразить себя неким творческим центром, как он сразу же ставит себя в уязвимое положение: ему тогда грозит своего рода двойной соблазн. Один состоит в том, что ученый берет из прошлого только то, что удовлетворяет его собственную потребность. Другой же соблазн в том, что ученый начинает отрицать реальность смерти, воображая, будто он, пусть и ограниченный своим настоящим, способен, тем не менее, извлечь "живое слово" из литературного следа и сделать так, чтобы все мы жили вечно.

Очень рано начав бдительно отслеживать все относящееся к Бахтину и к его влиянию, Гаспаров, по всей вероятности, решил или заподозрил, что именно Бахтин своими аргументами и идеями непосредственно спровоцировал эти соблазны у неподготовленных и непрофессиональных читателей. Ведь Бахтин (как и его современники-формалисты в Петрограде) побуждает читателей стать авторами и соавторами. По Гаспарову, это значит: Бахтин прививает филологии агрессивные, даже империалистические и колонизаторские, навыки чтения.

Само слово "диалог" благоприятствует именно таким навыкам, утверждал Гаспаров уже в статье 1979 года о Бахтине "в русской культуре XX века". Когда человек вступает в диалог "с вещью", читатель оказывается перед выбором: он "или может подстраиваться к ее контексту, или встраивать ее в свой контекст (диалог - это борьба: кто поддастся?)" (с. 34). В этой борьбе всегда легче и приятнее "встраивать" чужую вещь в наше понимание, чем в нее самому "встраиваться". Для Гаспарова психологические причины этого совершенно ясны и объективны: у нас всегда есть какие-то потребности, а у вещи (текста) - нет.

Понятно, что бинарная модель Гаспарова (либо я подстраиваюсь под текст - либо текст подстраивается под меня) - это довольно хрупкая, хотя и легкодоступная конструкция, в которой вполне узнаваемое жизненное мировоззрение по принципу: "кто - кого" переносится в область филологического исследования, на взаимоотношения с текстом. По самой своей структуре эти взаимоотношения подразумевают с од-

стр. 26

ной стороны - вертикаль власти, с другой - полную покорность этой власти, данную нам априорно раз навсегда. В науке, как и в педагогическом процессе, Гаспаров больше доверяет как бы застывшим вне времени *следам* слов, чем тому, что со словами на самом деле происходит в исторической жизни вплоть до сегодняшнего дня. Следы лишены собственных интересов. Оставаясь профессионалом и профессором во всем и всегда, Гаспаров выступает против любой методологии, которая дает читателям чрезмерные права на интерпретацию. И это понятно: ведь то, чему может научить такого рода методология, совершенно не поддается стандартизации, унификации - а значит, и не передается в обучении. Следовательно, подобная методология - ловушка. В большевистские 1920-е годы, как считает Гаспаров, именно такие (ненаучные) методы работы с текстом задавали тон. В ту эпоху оппортунизм по отношению к литературе - тенденция превращать произведение искусства нечто полезное для *моей* личности, *моей* творческой деятельности, приспособлять его для обострения *моего* восприятия, физических ощущений и впечатлений - был частью бунтующего и самоутверждающегося духа времени. "Личность в настоящем времени" - вот что поставили в центр всего (пусть даже и совсем на разных основаниях) и формалисты, и марксисты, и кружок Бахтина.

Надо сказать, что в 1979 году Гаспаров был как-то шире, великодушнее, чем стал позднее. В то время он еще признавал, что Бахтин - в отличие от своих последователей - относился к этому оппортунизму с полной осознанностью¹⁸.

При всем научном ригоризме, Гаспаров ни в любом из высказываний о Бахтине между 1979 и 2004 годом, ни в какой-либо другой своей работе о филологии так и не дал

сколько-нибудь точного определения того, что же, по его мнению, следует считать подлинным мотивом филологической деятельности, литературоведческого исследования. Простое любопытство исследователя? Археологические изыскания и реконст-

стр. 27

рукции ради них самих? Позитивистская мечта о том, чтобы не оставить неясным, не оприходованным ни одного живого места, - мечта об истории, в которой все подсчитано, записано на карточку и положено на полочку?.. Допустим даже, что научное исследование обречено "упрощать мир"; но ведь культивируя упрощения, все равно не избежать каких-то обобщений, генерализаций. А если так, то позволительно спросить: какими же все-таки принципами должно руководствоваться "исследование"?

Гаспаров ничего не говорит нам об этом: история культуры для него - это самоочевидная, объективная ценность. Зато он всячески подчеркивает, что недоверчивое отношение филологов к философам происходит *не* оттого, что филологи полагают, будто словесный след, написанное слово закрыто в себе и ничего не сообщает. Как раз наоборот. Филологов одушевляет стремление разыскать и восстановить слово. Слово дает ценную информацию. Для историка стиха, каковым преимущественно является Гаспаров, эта информация заключена в формальных элементах слова - ритме, рифме, тропе, фонетической и семантической структурах. Формы повторяются, преломляются, соотносятся - для Гаспарова в этом и состоит жизнь слова. Но отсюда, конечно, никак не следует, что слова могут *воскреснуть* или что с ними можно *вступить в разговор*, как с каким-нибудь живым, современным человеком, с другим сознанием. Гаспаров подозревает ценителей и последователей Бахтина в том, что они, вместо научной аргументации, культивируют мистику, выдавая ее за аргументацию. Он обращается критически не к прошлому, но к живым.

Более конкретное сопоставление с "новым историзмом" поможет нам лучше понять, почему, собственно, "диалогическая критика", на взгляд Гаспарова, проблематична. Вот признание, которым открывается знаменитая статья С. Гринблата 1988 года, положившая начало дискуссии о "новом историзме": "Я начал с желания говорить с мертвыми" ("I began with the desire to speak with the dead")¹⁹. Гринблат с обезоруживающей честностью высказывается о статусе "диалогов", кото-

стр. 28

рые он хочет осуществить, и о полифонических "резонансах", которые надеется обнаружить - или сконструировать. Он продолжает (там же):

"Это мое желание - хорошо знакомый многим из нас, но до сих пор не вполне озвученный мотив литературных исследований; мотив, оказавшийся заорганизованным, запрофессионализированным, похороненным под толстыми напластованиями бюрократического декорума: ведь профессора литературы - это буржуазные оплачиваемые шаманы. Сам не веря, что мертвые могут слышать меня, и сам зная, что мертвые не могут говорить, - я, тем не менее, был уверен, что сумею воспроизвести (recreate) разговор с ними. Даже тогда, когда я окончательно понял, что и в моменты предельного напряжения моего слуха все, что я в состоянии услышать, - это мой

собственный голос, - даже тогда я не отказался от этого своего желания. Я действительно мог слышать только свой собственный голос, но он был голосом мертвых постольку, поскольку мертвые изобрели способ оставлять о самих себе следы в тексте, и такие следы способны заставить услышать себя в голосах живых <...> Это, конечно, парадоксально - искать волю живых в вымыслах (fictions) там, где живое тело бытия отсутствует в принципе. Но те, кто по-настоящему любят литературу, переживают художественный вымысел (simulations) более интенсивно <...> чем какие-либо другие следы, оставленные в тексте мертвыми. Ведь такого рода вымысел сочиняют при полном сознании того, что жизнь, которую ухитряются в нем представить, на самом деле отсутствует, и потому вымысел может искусно предвосхищать и компенсировать исчезновение реальной жизни, энергии которой и породили его на свет".

Признание Гринблата красноречиво резюмирует те упреки, которые Гаспаров адресует сегодня профессиональному литературоведению, - многие из егоупреков метят (справедливо или несправедливо) в Бахтина. Филолог, гуманитарий-гуманист (the humanist scholar), каким его наполовину всерьез, а наполовину игриво видит Гринблат, - это "шаман", у которого глубокая психологическая потребность в магии каким-то образом служит оправданием тому, чем он занимается. Такой шаманствующий и, одновременно, исповедывающийся филолог борется с фантазией, а потом вдруг сам же ей отдается, демонстрируя привлекательную широту натуры и прося у читателя снисхождения. Филолог, критик, гуманитарий, тип которого так ярко воплощает Гринблат и который так явно отталкивает Гаспарова в лице Бахтина, исходит из того, что мертвые могут заговорить с помощью меня, живого современника, - через мой голос и совместно с моим голосом.

Но у такого ученого, согласимся, довольно-таки странная, в онтологическом отношении, аргументация. Оказывается, художественная литература ("вымысел", *simulation*) для профессиональных читателей - более живое и интенсивное переживание, чем какая бы то ни было реальная жизнь. И это потому, что вымысел, будучи заведомо лживым, предвосхищает утрату, которую нам предстоит пережить, столкнувшись с реаль-

стр. 29

ной смертью. Тем самым позиция, которую конструирует Гринблат и деконструирует Гаспаров, представляет собой смешение научного исследования с собственными потребностями, самотерапией и умственным произволом (а "самоутверждение Ренессанса", *Renaissance Self-Fashioning*, на поверку оказывается самоутверждением критика, пишущего о Ренессансе).

С точки зрения гаспаровцев, "случай Гринблата" - поясняющая аналогия к "случаю Бахтина", поскольку сторонники "нового историзма" активно способствовали смещению вкусов и оценок (shift of sensibilities) в американской литературной критике от текста к культурным контекстам - тому же самому смещению, которое питало "американского Бахтина" и подняло его до уровня суперзвезды. Обращение к широкой аудитории; открытость для взаимных, равноправных контактов и "переговоров" (negotiations); способность говорить с другими на их языке; учет фактора случайности; внимание к "резонансам"; наконец, акцент на способности каждого человека стать действующим лицом и оставить после себя след, энергии которого могут высвободить критики

последующих поколений, - эти особенности и ориентации "нового историзма" как раз и соответствуют более чем вольным надеждам, возлагаемым на "диалог" и (в чисто литературной плоскости) на "полифонию". Обратимся же теперь к бахтинской полифонии: можно ли снять с нее подозрение Гаспарова в том, что полифония в литературе тоже имеет только "философскую", а не филологическую значимость?

II. Автор и герой в академической деятельности: полифония, одновременность и форма сакрального

Скептиков, пишущих о полифонии в романе, давно уже беспокоит предположение: а не лежит ли в основе динамики полифонического романа как целого некий недопустимый для филологии постулат веры? Энтузиасты и апологеты полифонии утверждают даже, что полифоническое построение приближается к тому удивительному и таинственному моменту реальной действительности, который мы называем обычно "сдвигом сознания". И, конечно же, полифонический диалог - это очень своеобразная творческая деятельность: его итог - не "творение" (созданный герой, артефакт), но другие говорящие люди - лица, личности - существа, сотворенные для того, чтобы творить, причем творить больше словом и в слове, то есть из того же материала, из которого они сами созданы. Для того чтобы звучать правдиво, разговор между такими "сотворенными и творящими" существами должен

стр. 30

быть весь проникнут чувством свободы. Именно утверждение, что написанный текст может порождать не имеющую конца и завершения свободу, особенно раздражает тех филологов, которые привыкли работать с давно отложившимися и определившимися, традиционными литературными формами, - к таким филологам, понятно, относится и Гаспаров. Однако по мере развития бахтинистики стали появляться более взвешенные и конкретные определения полифонии, которые постепенно завоевывают признание. Если такие определения и объяснения на самом деле отражают замысел Бахтина, то, возможно, с их помощью удастся более объективно воспринять и более научно оценить "полифоническую форму", умиротворив тем самым даже скептиков гаспаровского типа.

Одним из первых шаг в этом направлении сделал Майкл Холквист. Исследуя бахтинское мышление в связи с проблемой органической формы, он уже давно отстаивает такую модель диалогических и полифонических отношений, которая включает в себе нечто большее, чем отношения линейности, чередования или колебательного движения. Холквист считает, что в центре теоретических интересов Бахтина, среди которых особенно выделяется своим постоянством проблема органических единств в их отличии от единств механических, находится *одновременность* - состояние непрерывной обратной связи и "едино-временно-сти" между различными необходимыми для жизни феноменами²⁰. Отношения, поддерживающие процесс жизни, развиваются и сообщаются не последовательно, не "в ряд" (как мы представляем себе внешний ход диалога), но, скорее, в более глубоком измерении (a field), непрерывно приспосабливаясь к нему. Полифония, понятая как со-существование множества переменных величин, в равной мере живых и способных ответно реагировать и поступать, - это не временная последовательность бытия, но основание бытия.

Эта идея получила совсем недавно неожиданное подтверждение и продолжение в области музыкальной критики. Я

стр. 31

имею в виду статью А. Е. Махова ""Музыка" слова: из истории одной фикции"²¹. Махов исследует долгую двустороннюю традицию заимствований терминов между музыкальными и литературными критиками. В конце статьи речь идет о "полифонии" у Бахтина. Махов отмечает, что Бахтина критиковали за то, что он использовал музыкальный термин якобы не точный, допускающий смешение области слов и области звуков, паразитирование одних средств художественного выражения за счет других. Такая критика, по мысли Махова, не адекватна сути дела по двум причинам. Во-первых, термин "полифония" (как и понятие "сонатной формы") впервые появился у средневековых теоретиков музыки под влиянием риторики; Бахтин, так сказать, вернул этот термин в родной дом. А во-вторых, бахтинскую полифонию неправильно отрывали (обычно воспринимая ее в секулярном контексте) от двух других ценностных измерений, которые Бахтин вводит в свою книгу о Достоевском в связи с той же самой проблемой полифонического романа, - таковы понятия "одновременности" и "вечности". Оба этих взаимодополняющих термина находятся в известном напряжении с понятием "диалог" - понятием, которое для многих из нас ассоциируется скорее с динамичностью, линейностью, мирской посюсторонностью, взаимной реактивностью. Диалог в этом смысле - слуга свободы: во всяком случае - постольку, поскольку диалог создает неожиданное и новое. А между тем "одновременность" и "вечность" гармонически сочетаются в средневековой полифонической музыке и более всего соответствуют духу средневековья. Больше того, в своем историческом контексте сакральная полифония была музыкальным эквивалентом *аллегории*, то есть мистической одновременности событий Ветхого завета и их соответствий в Новом завете. Такое семантическое переплетение, напоминающее палимпсест, конечно, не санкционирует чего-либо абсолютно нового (то есть той благородной задачи, которую выполняет в романах диалогизм); скорее, оно обогащает реальность старого новыми конstellациями одновременности. Только в музыкальной полифонии одновременность может стать бескомпромиссной реальностью, подлинным многоголосием, в пределах которого отдельные голоса, как бы много их ни было и каким бы своеобразием они ни обладали, никогда не вытесняют друг друга и никогда не теряют своего места в гармоническом строе целого. Для осуществления этой задачи музыка имеет в своем распоряжении собственный потенциал производит резонансы, намного пре-

стр. 32

восходящие семантические возможности словесного высказывания.

Сакральная полифония в этом смысле создает не только многослойное *звуковое* пространство, но и многослойное *смысловое* пространство - мощное, спрессованное и контрапунктическое; полифония оправданна и справедлива, потому что побуждает нас к надежде и вере. Парадигма новой эры, которую предлагает Махов, - "Страсти" Баха: здесь ключевые сакральные события встроены и вплетены одно в другое, но при этом не теряют своего напряжения и драматической силы. Разумеется, пространство такой парадигмы вполне телеологично и статично. В нем нет ничего незавершенного, ничего открытого. И

все же оно и вправду объясняет то, что можно назвать моментами сияния у Достоевского - моментами, которые не так легко свести к "идеям, развертывающимся в диалоге", - когда вечные вопросы *одновременно* ставятся, подвергаются испытанию смертью и обнаруживают свое бессилие изменить реальный ход вещей и событий, но одновременно и получают возможность трансцендентного разрешения. Вот некоторые из этих сцен: Раскольников на коленях перед Соней в эпилоге "Преступления и наказания"; Зосима, у которого находятся слова утешения для матери, потерявшей последнего ребенка; Алеша Карамазов на похоронах Илюшечки и его речь у камня.

Трудно сказать, имел ли Бахтин в виду сакральную полифонию средневекового типа в своей книге о Достоевском или (как утверждает большинство исследователей) нечто строго литературное, дисгармоничное и модерное²².

Однако предлагаемое Маховым прочтение словно подсказано многозначительным замечанием, высказанным на последних страницах монографии о Достоевском (и в первом издании 1929 года, и в переработанном издании 1963-го): "В плане

стр. 33

своего религиозно-утопического мировоззрения Достоевский переносит диалог в вечность, мысля ее как вечное со-радование, со-любование, со-гласие. В плане романа это дано как незавершимость диалога, а первоначально - как дурная бесконечность"²³.

Здесь, по-видимому, говорится о тех же двух измерениях человеческого существования, которые имеет в виду Махов в своей трактовке полифонии. Первое измерение, или низший уровень, - это диалог: свободно развивающийся, незавершенный, непредреженный, открытый, неустойчивый, пронизанный теплом и светом личности, - но потенциально трагический. Высший уровень - измерение, где все стабильно, истинно и вечно, а "полифония" имеет прочную и сакральную основу, - это сфера радости и примирения. Если гипотезу Махова принять всерьез, то оборот "полифонический диалог" следует осмыслить заново. Диалог, в смысле линейной последовательности с открытым концом, бесспорно, присутствует в романах Достоевского - и тем вернее приводит к трагедии и боли. Словесный диалог должен строиться в линейном порядке (ведь роман - не либретто, у него нет конвенций для создания ансамбля - *ensemble singing*, - в котором одновременно говорят все, но при этом каждый голос говорит и выражает что-то совершенно свое, в своем особом ритме и настроении, с расчетом, чтобы слушатели воспринимали голоса каждый в отдельности и все вместе). Но именно поэтому "полифонию", пожалуй, не следует смешивать с "диалогом", как не следует и рассматривать полифонию в качестве предельного случая диалога. Диалог и полифония - это, возможно, два различных и относительно самостоятельных феномена. Если (как считает Махов) полифония началась как риторическая мечта - мечта о том, чтобы очевидные противоречия и разнородный характер мира выразить как некое одновременное, разно-голосое, но в то же время и гармоничное целое, - как момент, когда Музыка Сфер наполняет Музыку Души, - тогда мы получаем во всей своей полноте и славе учение старца Зосимы в чистой трансмузыкальной форме. И тогда перед нами - независимо от намерений Бахтина и даже независимо от исповедуемого Бахтиным христианства - возможно, окажется главное в творчестве Достоевского. Ибо чем же еще является созерцаемое им христианское примирение человека

с другим человеком, с действительностью, с Истиной? Достоевский любил этот тройственный образ примирения, но оказалось, что успешно воплотить его - задача очень трудная. Возможно, потому, что слов всегда не хватает, а слова были единственным орудием его ремесла.

Что же имеет предъявить предложенная Маховым реабилитация бахтинской полифонии таким обмирщенным скептикам, как Гаспаров? Очень немного, конечно же, религиозного воодушевления. С точки зрения гаспаровской критики, утешение души не относится к существу филологической работы. (Впервые в 2004 году Гаспаров добавил к своей критике Бахтина несколько замечаний о Боге и несуразном, неуместном интересе к Нему Бахтина)²⁴. Но соображения Махова затрагивают и другое уязвимое место на литературном крыле бахтинистики. Многие критики Бахтина согласны в том, что интерпретации "диалогизма" в произведениях Достоевского уменьшают и ослабляют всеобъемлющую, трансцендентную весть автора. Бахтина в его скорее "формалистической" книге, которую ему пришлось писать о Достоевском в советских условиях, не очень удаются объяснения эпифаний в романских шедеврах, то есть откровений чисто духовных смысловых единств, мгновений вечной истины и других онтологических реальностей у Достоевского - всего того, что, несомненно, должно найти свое законное место в Большом Времени. "Диалогизованное слово" более успешно в качестве инструмента анализа конкретных диалогов в пределах Малого Времени. Однако с помощью концептуальной упаковки, в которую Махов поместил полифонию, можно начать пересмотр великих романов Достоевского: эти романы диалогичны на секулярном уровне, но, в то же самое время, сакрально-полифоничны на более высоком уровне. Нижняя (диалогическая) плоскость случайна, процессуально-мучительна, вполне допускает сомнения. Верхняя плоскость - средневековая полифоническая структура - наоборот, полностью контролируется и лишена всякой контингентности, уравновешенна и все время присутствует пространственно - почти в качестве лирического стихотворения. Как это Михаил Гаспаров мог остаться

равнодушным к поэту-музыканту, сочинившему такое стихотворение, и к критику-философу, обнаружившему и высветившему его?

III. Автор и герой в академической деятельности: мениппея, Рабле и спорная возможность перехода от культурного артефакта к художественному целому

Статья Гаспарова 2004 года "Случай Бахтина" включает несколько новых полемических аргументов против подсудимого помимо только что упомянутого замечания о Боге. Едва ли не самый резкий из этих новых аргументов направлен против жанра "мениппеи". Мениппея, согласно Гаспарову, - это "новая, небывалая литература, программу которой сочинил Бахтин" (с. 8). *Сочинил* - а не открыл или исследовал. Филологу-классику, воспитанному на работе с источниками, Гаспарову не по себе оттого, что Бахтин пользуется неким минимумом данных - сохранившимися мелкими или мельчайшими фрагментами, основываясь на которых он конструирует крайне экстравагантные

обобщения об истории литературы и условиях человеческого бытия. М. Л. считает такую методологию типичным признаком "философа в роли филолога".

Согласно Гаспарову, Бахтин, во-первых, применяет очень широкое определение жанра к очень небольшому по своему объему документальному материалу. Гаспаров перечисляет множество "основных особенностей" менипповой сатиры, приводимых Бахтиным в четвертой главе второго издания его книги о Достоевском, - в общей сложности - 14 признаков, среди которых находим и "смеховой", и "повседневный", и "приключение", и "фантастику", и "авантюжность", и "порог", и "морально-психологическое экспериментирование"; любое сочетание этих особенностей якобы свидетельствует о принадлежности произведения к мениппее²⁵. Но какое же повествовательное произведение в таком случае не окажется "мениппеей"? И поскольку не все, что существует, непременно подпадает под какую-либо данную аналитическую категорию, в этом случае не функционирующую в качестве категории, - то необходимым становится следующий шаг, который и делает "философ в роли филолога". Это - отбор текстов или фрагментов текстов для анализа того, что просто "нравится лично Бахтину, что он считает хорошим и важным". В

стр. 36

англоязычных исследованиях наследия Бахтина и древнего нарратива прозвучали сходные предупреждения об осторожности, хотя и не такие резкие по тону²⁶.

Гаспаров признает необходимость работы с фрагментами. История древней литературы - фрагментарная наука. Но это обстоятельство требует от филолога больше, а не меньше осторожности и самодисциплины. Из-за Бахтина рецепцией мениппеи произошло как раз обратное. В этом несчастном недоразумении есть вина и самого Бахтина. Почему он игнорирует великие, освященные традицией произведения античной литературы - например, комедии Аристофана? Потому, - отвечает Гаспаров на свой же вопрос, - что величие и цельность этих произведений Бахтину мешают, "потому что Аристофан слишком политизирован, слишком целенаправленно-сатиричен, слишком не-хаотичен, а в конечном счете просто потому, что он существует - как текст, а не как домысел". Целостный текст навязывает свои собственные структуры и свои собственные истины, которые смиряют читателей и ограничивают свободу их творческой активности. Поскольку философы предпочитают развивать свои собственные мысли, а не анализировать объективные данные внешнего мира, то они, собственно, ничем объективно не связаны и занимаются лишь миниатюрными фрагментами, которые для них тем самым оказываются не эстетическими единствами, но бессвязными стимулами для возбуждения их, философов, собственной произвольной фантазии. Гаспаров намекает, что именно таковы до странности нефилологические качества исследования Бахтина о Рабле (где там, в самом деле, Рабле-автор? в чем цельность его романа или романов? почему у Бахтина так много "культурного окружения" - площадности и народных ритуалов, - но так мало внимания уделяется литературному стилю или возвышающейся над прочим христианской символике?). Фрагмент вместо целого, анекдот или грубый жест вместо целостного духовного видения - вот что, по Гаспарову, является общим для "творчества" Бахтина. Такова книга

####

о Достоевском (отчасти), книга о Рабле (по большей части) и все, что написано о мениппее. Ибо такова вообще этика философствования: определяющим фактором здесь является "не система, а процесс".

Гаспарову не по себе оттого, что жанровая категория "серьезно-смехового", для мениппеи определяющая, практически неизвестна историкам европейской литературы - неизвестна даже тем, кто создавал эту литературу. "Но об этом обычно забывают, потому что исследованием идей Бахтина занимаются не историки, а теоретики литературы". Для этих теоретиков авторитетно слово Бахтина, а не дошедшие до нас факты истории литературы; признанием пользуются не эти послед-ние, но имя Бахтина: он ведь предоставил на потребу простые, годные для чего угодно категории, подстегивающие и как бы оправдывающие интеллектуальную смелость в ущерб тщательной предварительной работе.

К месту будет заметить, что в этом последнем пункте аргументация М. Л. напоминает те возражения, которые были выдвинуты американскими историками русской средневековой культуры в адрес ослепительных парадигм, популяризированных школой Лотмана-Успенского²⁷. А еще больше эта аргументация напоминает упреки скептически настроенных критиков "нового историзма".

Эти упреки направлены в первую очередь против того приоритета, который получает "пространство культуры" (cultural field) перед отдельным произведением искусства, а "среда" (environment) - перед индивидуальным автором произведения. Бахтинские терминологические новации, отразившиеся в первом, ставшем бестселлером, сборнике его статей в переводе на английский (*The Dialogic Imagination*, "Диалогическое воображение", 1981), зачастую фигурируют в критических разборах этих статей - и отнюдь не с доброжелательной интонацией. Ведь "диалог", в широком смысле этого слова, - одна из основных метафор исследовательского метода, который основывается на "обращении к широкой аудитории

стр. 38

и открытости для дискуссии" (circulation and exchange); диалог в этом смысле стремится не только к словесной, но, можно сказать, к телесной коммуникации. Во всяком случае, именно так понимает и определяет диалог "новый историзм". Он считает старый историзм "монологическим", - отмечает в этой связи Эдвард Пехтер в своей статье "Новый историзм и недовольство им": "Гринблат склонен рассматривать познание литературы и познание культуры как составные части одного и того же процесса интерпретации - части, имманентно взаимооживляющие"²⁸.

В какой-то мере, конечно, то, о чем здесь идет речь, - это старый, даже старомодный вопрос о контекстуализации, о влияниях общества на текст и текста на общество. Но автор цитируемой статьи имеет в виду нечто иное, и тут его неудовлетворенность "новым историзмом" начинает напоминать реакцию некоторых известных раблезистов на книгу Бахтина о Рабле. "Ход мысли здесь, - пишет Э. Пехтер, - явно односторонний: от текста культуры - к литературному тексту; и в результате текст культуры оказывается в привилегированном положении в качестве единственно устойчивой и определяющей точки отсчета". Раньше таким устойчивым центром предполагался автор; теперь им стало

"пространство" - место, в котором действующими силами являются не личности, но "власть" и "дискурс". А между тем означенные "пространства" не обладают стабильностью в такой мере, как это свойственно авторским художественным произведениям, - не обладают детерминацией и интенцией. Но именно поэтому устойчивым центром любого текста оказывается сам литературный критик.

На этом критическом основании возникают все прочие сомнения и возражения в духе Гаспарова. Анекдот, искусственно приспособленный к личному вкусу критика, приравнивается по значению заключенной в нем информации к какому-нибудь произведению Шекспира. Конечно, Шекспир остается исходным объектом почитания и исследования. Однако для последователей "нового историзма" основополагающая функция искусства все же заключается в создании "резонанса и удивления". Джон Ли отмечает в этой связи, что у Гринблата "чувство "удивления" совсем бесчувственно к тому вызову, который исходит от цельных произведений искусства. Художественные произведения вызывают удовольствие и изумление - и только"; в результате Гринблат "выводит происхождение удивления из культа чудесного <...> Новый исто-

стр. 39

ризм на самом деле положил в свое основание анекдоты как метонимическое средство, контролирующее критическую практику: анекдот делает возможным *inventio* и придает форму *dispositio* ²⁹. Куски и фрагменты легко собрать и персонифицировать, поскольку критик держит в своих руках и располагает по-своему все необходимые соединительные нити. Анекдоты и слухи по природе своей не поддаются верификации. Поэтому они становятся материалом, с помощью которого сочиняют выдумки - вроде той (скажет нам Гаспаров), которую Бахтин рассказывает про "мениппею".

Гаспаровская критика такого типа, как мы убедились, до крайности резкая - настолько, насколько Гаспаров может быть резким. Ценность такой принципиальной критики всегда состоит в том, чтобы выставить на всеобщее обозрение и разоблачить возможные эксцессы веры - всякой веры. Ибо то, что называется "критикой" (*critique*), - если заниматься ею честно - не может не вовлекать в свою серьезную игру и не навлекать на себя ответные, равнодостоинные удары контр-критики. И так всегда совершалась, обогащалась и развивалась история литературной критики.

Что касается "нового историзма", то скептическая общественная реакция против него достигла, похоже, своего предела у Пола Стивенса в его статье 2002 года "Притворяясь реальностью: Стивен Гринблат и наследие экзистенциализма-для-всех"³⁰. Стивенса интересует терпкое соединение личной активности и объективного бессилия в наиболее влиятельном произведении Гринблата. Весть, которую несет нам Гринблат, по мнению его критика, двусмысленна: с одной стороны - да, я в состоянии что-то изменить в этом мире (ведь по отношению к истории, которая анекдотична, я тоже - анекдот); с другой стороны - нет, за вычетом лучших мгновений диалога я не в состоянии изменить общественно-политическую реальность, ибо объективные силы, царящие в мире, формируют и меня самого. Единственный механизм, способный соединить

стр. 40

эти две истины, - случайность, контингентность. Значит, история пишется так же, как и жизнь критика: она складывается от случая к случаю; моменты познания или моменты встреч - это просто то, что случилось или приключилось со мною. Предлагаемый Гринблатом рецепт отношения к миру - эгоцентрический и пораженческий с точки зрения активного политического действия, но лично для Гринבלата терапевтический и к тому же отлично читаемый - квалифицируется Стивенсом как экзистенциализм, так сказать, овладевший массами, - "экзистенциализм-для-всех" ("popular existentialism").

Что говорить: такой экзистенциализм производит очень тяжелое впечатление как на марксистских критиков, так и на более традиционных гуманистов, работающих исключительно с текстом. Гаспаров, по всей вероятности, отнес бы Бахтина и его последователей тоже к "экзистенциалистам-для-всех".

IV. Вместо заключения: о парадоксах, романтической иронии и неувыдающем достоинстве русской литературно-критической традиции

Выше мы попутно отметили, что среди парадоксов, заключенных в предмете данной статьи, имеет место и то обстоятельство, что как раз в качестве людей науки оба, Гаспаров и Бахтин, имеют много общего. Оба они - филологи-классики, полиглоты, книжные черви, люди глубокой личной порядочности и скромности, чувствующие себя на своем месте скорее в библиотеке и в учебной аудитории, чем на политических сходах, и не склонные выставлять напоказ собственные антипатии или внутренние конфликты. Блестящий мемуарист, Гаспаров, однако, предпочитает в этом жанре суховатые, иронически-игривые интонации, а Бахтин, как известно, говорил, что вообще не желает писать воспоминания³¹. Бахтин и Гаспаров всегда отделяли свой приватный жизненный опыт от научной работы. Поэтому оба этих русских ученых так сильно отличаются от блестяще исповедального Стивена Гринבלата, личная биография которого часто сознательно становится исходным пунктом профессиональной деятельности. В этом отношении Гринблат - типичный американец, критик в духе

стр. 41

Виктора Шкловского. Как же тогда оценивать вердикт Гаспарова по "делу", или "случаю" (case), Бахтина?*

Этот вердикт еще нуждается в подлинном обсуждении и прояснении. Но один предварительный вывод все-таки можно сделать. Вот в чем Гаспаров несомненно прав: Бахтин с самого начала определял себя в качестве философа и в конце пути утверждал, что он оставался философом всегда. Источник разногласий не столько Бахтин, сколько философия. По Гаспарову, та или иная научная дисциплина познается по ее плодам, то есть по реальным результатам ее деятельности: "философия" - плод творческого воображения, а "филология" (путь истинного ученого) вырабатывает чистое знание, формализованное и позитивистское. Те же самые феномены Бахтин видит и понимает совсем по-другому. Он вполне признает, что "чужое слово как предмет познания" допускает двойной подход "в пределах гуманитарных наук (и в пределах филологии в узком смысле)"³². Чужое слово можно рассматривать как вещь: в этом случае понимание будет абстрактным и обескуражит тех, кто хочет с таким словом вступить в разговор. Но к чужому слову можно подойти иначе - "диалогически": в этом случае в нем обязательно

откроются новые аспекты значения. Отметим, что Бахтина здесь интересует нечто иное, чем сами по себе абстрактные понятия истины и лжи, добра и зла, правильного и неправильного, - ему важна не систематизация результатов. Диалогический подход (установленный на ориентацию, а не на результат, и тем самым - на вопрос и на ответ одновременно) имеет одну задачу, которую он не может не осуществлять, - она заключается в открытии чего-то нового. Филология, по Бахтину, *должна* посвящать себя этой задаче: "диалогическое проникновение обязательно в филологии" (там же).

Идея филологии как "проникновения", помимо явных резонансов Православия, больше обязана, конечно, Йенскому романтизму, *Anschaung* Фихте, поэтической интуиции Новалиса, возможно, даже Спинозистскому (и гетеанскому) по-

* В английском языке слово *case* имеет значение как юридического прецедента (подсудного "дела"), так и медицинского прецедента ("истории болезни" данного пациента); в более нейтральном и распространенном значении - "пример", в более ироническом значении (как и в русском) - "казус" (ср. лат. *casus*). - *Прим. ред.*

стр. 42

натию объединяющей природу и человеческое сознание единой субстанции, чем платоническим формам и запретам в мире Гаспарова. Мышление Бахтина было спекулятивным, этическим, космически беспредельным и окрашенным в тона немецкого романтизма; в большевистские 1920-е годы он любил не Фрейда или Маркса, но Шеллинга: вместе с Львом Васильевичем Пумпянским и Марией Вениаминовной Юдиной он обсуждал философию Шеллинга на протяжении нескольких месяцев подряд и знал его, по собственному свидетельству, "вдоль и поперек"³³. По существу, Бахтин никогда не стремился ни к созданию "научной дисциплины", ни к сохранению ее самодостаточной чистоты. Быть может, он и не обязан поэтому отвечать за плоды специализации. Тем более, если вспомнить - и в этом я вижу почти комизм истории рецепции Бахтина в мире, - что его работы стали достоянием современности спустя десятилетия после того, как они были написаны, а в иных случаях - уже после того, как автор считал их давным-давно утраченными.

По мнению добросовестных и преданных Бахтину исследователей его творчества - тех, кто шаг за шагом возвращают сейчас из забвения утраченные реальные контексты опубликованных бахтинских текстов, - Бахтин был не философом в обычном смысле этого слова и не традиционным филологом, а скорее мыслителем особого, пограничного типа. По словам одной такой исследовательницы, исследовательские интересы Бахтина связаны с "философскими основаниями гуманитарных наук и границами науки и философии в гуманитарном исследовании"³⁴.

Подытоживая наши размышления, можно сказать так: Гаспаров тоже признает необходимость не только одного типа филологии и не только одного типа критики (и он к тому же разнообразнее и свободнее пользуется жанрами критики, чем Бахтин в свое время). Вкратке выступлении 2002 года под названием "Как писать историю литературы" Гаспаров продемонстрировал значительную широту, перечислив типы исследования, которые, на его взгляд, должна включать будущая история литературы: тут и история литературных форм, и

стр. 43

история читателя, и история переводов, и история рецепции³⁵. Все перечисленные Гаспаровым "истории" имеют значение и нужны, потому что все они способствуют "систематизации наших знаний". А как насчет альтернативных историй? Тех, для которых источником вдохновения был бы скорее Бахтин (или даже "новый историзм") и которые имеют своей целью освободить нас от навязываемых нам со всех сторон теоретизированных и идеологизированных систем путем поисков всегда нового в каждом индивидуальном жесте сознания? Вопросы такого рода не столько даже сердят Гаспарова, сколько оставляют его равнодушным: "А история литературы, изготовленная не как средство систематизации наших знаний, а как средство нашего духовного самоутверждения, пусть будет какая угодно. Такие истории читаются от моды до моды".

Такие истории, как бы говорит Гаспаров, имеют право на существование, и всегда будут существовать. Но, рожденные сегодняшним днем, они умрут вместе с ним. Гаспаров идет дальше: он считает полезным делом (и здесь мы чувствуем влияние особенно близкого ему Б. Ярхо) взглянуть ина *современность* глазами прошлого: "В сказках живая вода действует только после мертвой".

Бахтина куда меньше задевают истории, которые живут "от моды до моды", потому что для него основанием была не позитивистская инвентаризация знания ради самого знания, но реальность незавершенного движения. Бахтин также не проявлял особого интереса к границе между жизнью и смертью. В силу этих причин он был склонен смотреть на прошлое глазами настоящего, или вернее, - с точки зрения возможностей настоящего, потенциала современности. Бахтин считал, что у жизни всегда найдется "лазейка", чтоубить окончательно, безвозвратно, пожалуй, можно, хотя и трудно; не смерть, но оживление было для него естественным состоянием мира, а слово говорящего человека - только лучшим носителем этого принципа.

Естественно, что такой склад мышления должен представляться многим ученым неясным и ненаучным. Это отметили и подчеркнули в 2005 году три члена редакции НЛЮ - журнала, который трудно заподозрить в особых симпатиях к Бахтину, - в "антиюбилейном подношении" Гаспарову: "случай Бахтина" постоянно и назойливо просвечивает сквозь поверхность этого текста. Умные и провокативные соображения, высказанные на форуме НЛЮ, с точки зрения целей моей статьи

стр. 44

удобным образом соединяют 25-летие гаспаровского антибахтианства и 70-летие со дня рождения Гаспарова, а значит, могут удачно завершить мои собственные размышления по поводу бахтино-гаспаровского раздора. Статья из 73-го выпуска НЛЮ, о которой пойдет речь, побуждает присмотреться также и к мифологическим представлениям, окружающим того и другого великого русского ученого в XXI веке.

Члены редакции НЛЮ распределяют творческие достижения Гаспарова в гуманитарных науках за многие десятилетия по пяти рубрикам: "Энциклопедизм", "Предназначение (социальная функция) филологии", "Интерпретация", "Личность" и, наконец, "Быт филологический" - филология как способ (повседневной) жизни. В этой классификации поражает вот что: как легко и уместно эти "ценностные категории" можно применить к Михаилу Бахтину. Однако в "случае Гаспарова" акценты расставлены иначе, чем в "случае

Бахтина", разграничительная линия между обоими учеными проводится в другом месте, и, как следствие, происходит небольшое локальное колебание почвы, обнаруживающее подспудное недовольство и беспокойство.

Я остановлюсь только на трех таких эмоциональных выплесках, начав с самого громкого. Авторы из редакции НЛЮ считают, что "известная критичность Гаспарова в адрес Бахтина рождается не только и не столько из-за того, что тот, по мнению Гаспарова, интеллектуально принадлежал революции-взрыву, а не наследию-преемственности, а потому, что в той ситуации, где Бахтин, по мнению Гаспарова, культивировал эзотеризм и произвольность, сам он стремится и призывает других к открытости и рациональности" (172).

"Эзотеризм"/"открытость", "произвольность"/"рациональность": в этих непримиримых оппозициях, уверяют нас, - научная суть спора и раздора. Однако вслед за тем возникает сравнение научного творчества Гаспарова с "идеологически более радикальными" исследованиями его знаменитого коллеги Сергея Аверинцева (173), и тогда постепенно начинаешь понимать, что за этими оппозициями авторы из НЛЮ подразумевают и намеренно обостряют и другую оппозицию: *духовное/светское*. То, что импонирует в Гаспарове, - это его решительный "секуляризм" (буквально: "борьба за независимую от церкви школу"); то, что обескураживает в Бахтине, - это его открытость, так сказать, более духовным аспектам гуманитарных наук (не составляющим, по мнению Гаспарова и НЛЮ, "предназначения" филологии). "Энциклопедизм" знания не включает этих аспектов, тем более что они сплошь и рядом вырождаются в мистику и даже суеверие.

стр. 45

Во-вторых, вспомним то, что выше говорилось в связи с платоновским "Федром": Бахтин, судя по его смелым идеям о полифоническом устройстве, убежден, что написанное слово способно сохранять и питать сознание личности, тогда как Сократ (а вслед за ним и Гаспаров), напротив, убежден, что оно на это не способно: такие слова, когда мы к ним обратимся с вопросом, лишь "всегда отвечают одно и то же". Члены редколлегии НЛЮ расширяют и уточняют этот аргумент. Гаспаров, заявляют они, и сам глубоко убежден в особой "жизненности" письменного слова, но практикуемые им прочтения текстов отдельных авторов принципиально отличаются от других подходов ("от бахтинского, например", добавляют они): "За наивным и будто бы упрямо позитивистским настоянием на правах текста - как он есть сам по себе - встает личное герменевтическое усилие интерпретатора, его культурно-этический поступок: спасение текста от группового или индивидуального читательского произвола" (176). Здесь, таким образом, дихотомия Гаспаров/Бахтин тоже оказывается фундаментальной, вопросом принципов: если научная деятельность Гаспарова имеет целью "*спасти*" текст от безразличия или от произвола читателей, то Бахтин, в противоположность этому, с самого начала рассматривает литературный текст как многоголосый, полицентричный и разносмысленный в такой преизбыточно-щедрой степени, что тексту как будто и не грозит опасность быть разрушенным отдельным прочтением или искажающими прочтениями. Это убеждение - составная часть карнавального духа, которым, на взгляд Бахтина, проникнут наш мир. Но ведь, опять-таки, тот же самый карнавальный дух проявляется и в Гаспарове "при всей нелюбви М. Л. Гаспарова к работам Бахтина" (178) - факт, который охотно признают и члены редакции НЛЮ. Но Гаспаров обращает свои страсти и пристрастия вовне - на

аудиторию. Он выработал чрезвычайно привлекательный публичный имидж автора "Записей и выписок" - тогда как Бахтина, похоже, вообще мало интересовала его собственная биография, как и его собственные пародийно-иронические автобиографии. В этом отношении Бахтин был исключительно скромен. Всю свою мудрость он воспринял из прочитанных им текстов - этого оказалось достаточно для формирования его личности.

Это последнее био-библиографическое наблюдение приводит меня к самому деликатному - поскольку самому личному и не поддающемуся сравнению - аспекту нашего сопоставления Гаспарова и Бахтина. Постоянный упрек Гаспарова

стр. 46

и гаспаровцев по адресу Бахтина касается значения научной сдержанности, или скромности, в профессиональной работе. Мы видели, насколько отсутствует такая сдержанность у представителей "нового историзма", особенно у Стивена Гринблата с его доведенной до профессионального блеска исповедальной мотивацией литературного исследования. Мы видели, что прочтения и в бахтинском духе дали повод для аналогичного отпора. И еще одной устойчивой темой критики Бахтина с гаспаровских позиций является отсутствие у него, как пишут в НЛЮ, "готовности к самопересмотру своих установок" по отношению к миру (176).

Но справедливый ли это упрек? Я думаю, несправедливый. О Бахтине-человеке мало что известно - о его сомнениях, срывах и тупиках. Хотя в нашем распоряжении немало (и все возрастающее) число воспоминаний и свидетельств о жизни Бахтина, но если к ним присмотреться и вдуматься, Бахтин больше внимательно слушал, чем говорил о себе или своих идеях. В беседах с В. Дувакиным лишь незначительно приоткрывается личность мыслителя. Если Гаспаров стал активным создателем своего публичного образа, а тем самым - участником собственной мифологизации, то у Бахтина для этого было куда меньше возможностей и еще меньше - желания и сил. Таким образом, когда авторы из редакции НЛЮ подытоживают в своем юбилейном выступлении, в чем, по их мнению, заключаются права и реалии личности (177), то предлагаемый ими кодекс личности звучит, во всяком случае для меня, совершенно в духе бахтинского кредо: "Личность исследователя неотменима, но ее обязанность *не переоценивать ее* (выделено в тексте. - К. Э.). Она не более ценна и интересна, чем личность других людей, которые имеют полное право быть чуждыми и непривычными" (177).

На этот счет Гаспаров и Бахтин, несомненно, согласились бы друг с другом. Они оба верили, что наша жизнь не ограничивается временем и пространством настоящего момента и что право выбирать место нашего жительства из всех возможных исторических эпох дано нам через слово. Оба всегда героически отказывались считать себя жертвами; в том и другом случае трудные условия только увеличивали их требования к себе, и достойный "филологический быт" был ответом на вызов времени.

Принстонский университет, США

¹ Брагинская Н. В. . Славянское возрождение античности // Русская теория: 1920 - 1930-е годы. М.: РГГУ, 2004. С. 73.

² См.: *Гаспаров М. Л.* М. М. Бахтин в русской культуре XX века // *Гаспаров М. Л.* Избранные труды. Т. II. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 494 - 496. История "гаспаровского" взгляда на Бахтина проанализирована в комментарии к переизданию этой статьи в книге: Михаил Бахтин: Pro et Contra / Под ред. К. Г. Исупова в 2 тт. Т. II. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 2002. С. 507 - 510. Ссылки на статью М. Л. Гаспарова 1979 года даются по этому изданию (с. 33 - 36) с указанием страниц в тексте.

³ См.: *Гаспаров М. Л.* История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Материалы Международной научной конференции 10 - 11 ноября 2004 года: "Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения". М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 8 - 10.

⁴ Авторы из НЛО отмечают, что методологический консерватизм Гаспарова соединяется у него с резкой независимостью ума, как и у Лидии Гинзбург, другого ученого XX века, сформировавшейся в рамках советских институций, но при этом совершенно не вписывавшейся в эти рамки и как критик тоже не создавшей никакой теоретической "школы". Гинзбург, подобно Гаспарову, была умным, одаренным и бесстрашным мемуаристом. См.: *Александр Дмитриев, Илья Кукулин, Мария Майофис*. Занимательный М. Л. Гаспаров: академик-еретик ("Антиюбилейное приношение" редакции "НЛО") // Новое литературное обозрение. 2005. N 73. С. 170 - 178. Далее ссылки на эту статью даются с указанием страниц в тексте.

⁵ См.: *Брагинская Н. В.* Указ соч. С. 67 - 71, 61 - 62. По мнению Н. В. Брагинской, идеи Бахтина все еще не стали вполне объектом демистификации со стороны настоящей, объективной науки. "Судьба этого богатого на дарования поколения, - замечает Н. Брагинская, - в лучшем случае печальная, а чаще ужасная, делала и делает тональность обращения к их наследию несколько апологетической" (с. 51). Отмечу в этой связи два беспристрастных и совсем не апологетических издания английских исследователей Бахтина: *Brandist Craig*. The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture, and Politics. London: Pluto Press, 2002; *The Bakhtin Circle: In the Master's Absence*. Manchester: Manchester U. P., 2004.

⁶ В статье "Филология как нравственность" Гаспаров говорит: "Филология начинается с недоверия к слову", поскольку доверяем мы, естественно, "только словам своего личного языка". Филология, как ее понимает Гаспаров, должна сопротивляться искушению, которое состоит в сведении всего, что является по-настоящему чужим, к чему-то такому, чему мы "доверяем" (т.е. тому, к кому мы можем обращаться или с кем говорить). См.: Литературное обозрение. 1979. N 10. С. 26 - 27; цит. по: *Гаспаров М.* Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 99 - 100.

⁷ Поскольку прошлое принадлежит себе самому, а вовсе не нам, то для него нет и никакого резона и основания вступать с нами в диалог. См. в этой связи: *Гаспаров М. Л.* Критика как самоцель // Новое литературное обозрение. 1993 - 1994. N 6. С. 8. Перепечатано в: *Гаспаров М.* Записи и выписки. С. 111: "Для меня в мире не создано и не приспособлено ничего: мне кажется, что каждый наш шаг по земле убеждает нас в этом".

⁸ *Greenblatt Stephen*. What Is the History of Literature? // *Critical Inquiry*. Vol. 23. 1997. N 3. P. 481.

⁹ В 1960-е и 1970-е годы "русская теория" воспринималась за пределами России почти исключительно как освобождающая от академического застоя. Во введении к сборнику своих статей 1990 года "Учась проклинать" Стивен Гринблат упоминает несколько "мощных интеллектуальных встреч", которые способствовали формированию его нового подхода к литературному исследованию, - с марксистом Реймондом Уильямсом в Кембридже, с Мишелем Фуко в Беркли, а также с работами "Михаила Бахтина, Кеннета Берка, Мишеля де Серто". Представляется, что на Гринבלата повлияли также ранние русские формалисты, сочетавшие объективное "остранение" и сентиментальную озабоченность интимным и субъективным. "Я никогда не выносил принудительного остранения моей жизни, как если бы она принадлежала кому-нибудь другому, - признается Гринблат в том же введении, - но я понимаю и таинственную "другость" (otherness) моего собственного голоса <...> Я привержен проекту остранения, превращения в чужое и чуждое того, что сделалось знакомым и своим". См.: *Greenblatt Stephen*. Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture. New York and London: Routledge, 1990. P. 3, 8.

¹⁰ В параллель к возражениям, выдвинутым Гаспаровым в статье "Случай Бахтина", можно рекомендовать следующие скептические выступления против "нового историзма" (за последние примерно два

десятилетия): *Pechner Edward* . The New Historicism and Its Discontents: Politicizing Renaissance Drama//PMLA. Vol.102. 1987. N 3. P. 292 - 303; *Lee John* . The Man who Mistook his Hat: Stephen Greenblatt and the Anecdote //Essays in Criticism. Vol. XLV. 1995. N 4. P. 285 - 300; *Gearhart Suzanne* . The Taming of Michel Foucault: New Historicism, Psychoanalysis, and the Subversion of Power //New Literary History. Vol. 28. 1997. N 3. P. 457 - 480; *Stevens Paul* . Pretending to be Real: Stephen Greenblatt and the Legacy of Popular Existentialism //New Literary History. Vol. 33. 2002. N 3. P. 491 - 519.

¹¹ Платон . Собр. соч. в 4 тт. Т. II. М.: Мысль, 1993. С. 187.

¹² См.: *Гаспаров М* . Записи и выписки. С. 101.

¹³ См.: *Гаспаров М* . Записи и выписки. С. 101.

¹⁴ Не случайно такой проникновенный исследователь Толстого, как Лидия Гинзбург (тоже скептически относившаяся к пандиалогизму Бахтина), давно уже высказала этот аргумент Гаспарова. Не Достоевский, а как раз Толстой понимает трудности социально дифференцированной словесной коммуникации, утверждает она; в разговорах, которые ведут герои Толстого, мы узнаем дилемму нашего экспрессивного "я". Ср.: "Осознавать же себя по Достоевскому ему (современному человеку. - К. Э.) интереснее, и это каждому заметно". См.: *Гинзбург Л* . О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971. С. 313.

¹⁵ *Гаспаров М. Л.* . Критика как самоцель // Новое литературное обозрение. 1993 - 1994. N 6. С 8 - 9.

¹⁶ См.: Бочаров С. Событие бытия. О Михаиле Михайловиче Бахтине // Новый мир. 1995. N 11. С. 212.

¹⁷ Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: Случай Бахтина. С. 8.

¹⁸ В 1979 году Гаспаров писал, что последователи Бахтина "сделали из его программы творчества теорию исследования. А это вещи принципиально противоположные: смысл творчества в том, чтобы преобразовать объект, смысл исследования в том, чтобы не деформировать его <...> Как Бахтин призывал собеседников своего поколения брать из культуры прошлого только то, что они считают нужным для себя, так теперь из его собственных работ собеседники нового поколения берут только то, что они считают нужным для себя. Но всегда лучше, чтобы это делалось сознательно, как делалось самим Бахтиным". Цит. по: Михаил Бахтин: Pro et Contra. Т. II. С. 35 - 36.

¹⁹ См. статью "Распространение социальной энергии", вошедшую в качестве первой главы в его книгу "Социальные взаимоотношения у Шекспира": *Greenblatt Stephen* . Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley: CA, University of California Press, 1988. P. 1. Гаспаров, по всей вероятности, признает такое желание по-человечески совершенно понятным, но только как соблазн, которому истинный ученый должен противодействовать, а не поддаваться.

²⁰ См. основные положения Холквиста во вступительном разделе его книги "Диалогизм: Бахтин и его мир" (*Holquist M* . Dialogism: Bakhtin and His World. London and New York: Routledge, 1990. P. 18 - 20), который называется "Принципиальная роль одновременности", а также его недавнюю работу "Бахтин и задача филологии: статья для Вадима" в кн.: In Other Words: Studies to Honor Vadim Liapunov. Indiana Slavic Studies. Vol. 11. 2000. P. 56.

²¹ Вопросы литературы. 2005. N 5. С. 101 - 123.

²² Самая последняя гипотеза о происхождении полифонии у Бахтина принадлежит Брайану Пулу, и она не имеет практически ничего общего с гипотезой А. Е. Махова. Источник Бахтина, согласно Б. Пулу, относится к немецкой философской критике, а именно - к XIX веку: это - немецкий романист и критик Отто Людвиг, которого процитировал в 1923 году теоретик жанра Эрнст Хирт. Речь идет о выражении *polyphonischer dialog* , которое встречается в работе Эрнста Хирта "Закон формы в эпической, драматической и лирической поэзии" (*Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen Dichtung*), - выражении, которое, правда, употреблено в контексте истолкования шекспировской драмы. См.: *Poole Brian* . From Phenomenology to dialogue: Max Scheler's phenomenological tradition and Mikhail Bakhtin's development from "Toward a philosophy

of the act" to his study of Dostoevsky // *Bakhtin and Cultural Theory*. Manchester: Manchester U. P., 2001. P. 119, 131.

²³ *Бахтин М. М.* Проблемы творчества Достоевского // Проблемы поэтики Достоевского. Киев: Некст, 1994. С. 160 (1929); С. 473 (1963).

²⁴ "...Бахтину больше всего хотелось говорить о трансцендентном, т.е. о Боге (о том Боге, который присутствует третьим над всеми людскими диалогами), а о Боге адекватно говорить человеческим языком вообще нельзя, даже и независимо от советских цензурных условий. О Боге можно говорить только парадоксально...". См.: *Гаспаров М. Л.* История литературы... Случай Бахтина. С. 9.

²⁵ См.: *Бахтин М. М.* Собр. соч. в 7 тт. Т. VI. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002.

²⁶ "Вместо того, чтобы видеть в этом каталоге специфику древних жанров или жанровых подразделений, возможно, полезнее рассматривать его как попытку Бахтина выделить и обозначить древние ингредиенты традиции карнавализованной прозы - традиции, которая выходит за границы традиционных жанров". См.: *Branham R. Bracht*. The Poetics of Genre: Bakhtin, Menippus, Petronius // *The Bakhtin Circle and Ancient Narrative*. Groningen: Barkuis Publishing & Groningen University Library, 2005.

²⁷ См. пионерский сборник статей "Религия и культура в России и Украине". См.: *Religion and Culture in Early Modern Russia*. De Kalb: Northern Illinois University Press, 1997. Отом, что пользоваться работами семиотиков культуры в деле исторического мышления следует с большой осторожностью и тактом, см. статью в том же сборнике: *Frick David A*. Misrepresentations, Misunderstandings, and Silences: Problems of Seventeenth-century Ruthenian and Moscovite Cultural History. P. 149 - 168 (особенно P. 152 - 154). Автор безоговорочно причисляет семиотиков культуры к "структуралистам".

²⁸ *Pechter Edward*. Op. cit. P. 293, 296.

²⁹ См.: *Lee John*. Op. cit. P. 297 - 299. Ли здесь очень сердитый, такой же сердитый и нетерпимый, каким стал Гаспаров в 2004 году по отношению к методологическим ошибкам и произвольным фантазиям бахтинистов: оба, американский критик и русский ученый, придерживаются того мнения, что их оппоненты подрывают честность филологической науки. "Гринблата часто восхваляли за человечность (humanism) его творческой деятельности, - пишет Ли. - Куда больше бросается в глаза его напор, тяга к господству и власти, а также готовность для достижения этого сделать из прошлого то, что ему хочется".

³⁰ *Stevens Paul*. Pretending to be Real: Stephen Greenblatt and the Legacy of Popular Existentialism // *New Literary History*. Vol. 33. 2002. N 3. P. 491 - 519.

³¹ См.: *Бахтин М. М.* Беседы с В. Д. Дувакиным. М.: Согласие, 2002. С. 295: "Дувакин : <...> Вы писать воспоминания не собираетесь? - *Бахтин* : Не собираюсь совершенно".

³² См.: *Бахтин М.* Слово в романе // *Он же* : Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 164: "У филологии специфические цели и подходы к своему предмету - говорящему человеку и его слову <...> Однако в пределах гуманитарных наук (и в пределах филологии в узком смысле) возможен двойной подход к чужому слову как предмету познания".

³³ *Бахтин М. М.* Беседы с Дувакиным. С. 271 - 273.

³⁴ *Попова И.* О границах литературоведения и философии в работах М. М. Бахтина // *Русская теория: 1920 - 1930-е годы*. М.: РГУ, 2004. С. 103. По мнению И. Поповой, очень взвешенно обсуждающей данную проблему в своей статье, то, что зачастую представляется "отсутствием методологии" у Бахтина, обусловлено постоянным смещением и перемещением точки зрения.

³⁵ Это выступление первоначально было зачитано на "Тыняновских чтениях" 2002 года, а год спустя напечатано в "Новом литературном обозрении". 2003. N 59. С. 142 - 146.

